ГАЗЕТА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
“ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ”
НАШ САЙТ: denlit.ru
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
denlitera@yandex.ru

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ГАЗЕТА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
“ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ”
№ 6(248) – 2017

Мадонна Боттичелли

Ион ДЕГЕН

28 апреля 2017 года скончался Ион Лазаревич Деген. Ему шёл 92-й год, возраст почтенный, но казалось, что слово "смерть" к нему неприменимо. Он всегда был полон энергии, заряжая ею окружающих. Великий воин, ушедший мальчиком на войну и ставший танковым асом, выдающийся хирург, которому доверяли свои жизни первые люди государства, поэт, создавший одно из лучших стихотворений о войне, Ион Лазаревич при жизни заслужил звание "человек-легенда".

Рассказ

Грустная это история. В стихах нет ни слова о том, что произошло. Стихи так, вообще.

Конечно, мне приятно, что эти стихи полюбились в бригаде. Нравились и другие. Но, я думаю, больше потому, что ко мне хорошо относились. А эти… Все видели картину, о которой я написал стихи. Мадонна с младенцем. Ничего не выдумал.

В имении, оставленном врагами,
Среди картин, среди старинных рам
С холста в тяжёлой золочёной раме
Мадонна тихо улыбалась нам.
Я перед нею снял свой шлем ребристый,
Молитвенно прижал его к груди.
Боями озверённые танкисты
Забыли вдруг, что ждёт их впереди.
Лишь о тепле. О нежном женском теле,
О мире каждый в этот миг мечтал.
Для этого, наверно, Боттичелли
Мадонну светоликую создал.
Для этого молчанья, для восторга
Парней, забывших, что такое дом.
Яснее батальонного парторга
Мадонна рассказала нам о том…
Что милостью окажется раненье,
Что снова нам нырять в огонь атак,
Чтобы младенцам принести спасенье,
Чтоб улыбались женщины вот так.
От глаз Мадонны тёплых и лучистых
С трудом огромным отрывая взор,
Я вновь надел свой танкошлем ребристый,
Промасленный свой рыцарский убор.

Всё так и было. Стали бы наши ребята заучивать эти стихи, если бы нашли в них хоть каплю неправды! Написал я их не тогда, когда мы увидели картину, не в имении, а уже в землянке. Но времени прошло немного. Около недели. Может быть, дней десять.

Командир машины из соседнего взвода музыку к ним придумал. Хотел, чтобы это был марш нашей роты. Только вместо марша почему-то получилась грустная песня. Было в ней уже что-то слышанное, знакомое, но всё равно хорошая у него получилась песня.

Нет, ничего в этих стихах не придумано. Не написал я лишь, что Мадонна была не одна, а с младенцем. Но младенец был как бы частью Мадонны.

Вот только не нравится мне в этих стихах… сам не могу понять, что мне не нравится.

На фронте стихи были для меня, что ребята в экипаже. Солдаты. А эти стихи отличались от других. Тоже как бы солдаты. Но только не в обыденной жизни, а на параде. Те же люди, та же сущность, те же желания. Но в повседневной жизни они не такие прилизанные. Эти стихи отличались от всех других, написанных мной в ту осень.

Наступление выдохлось. Пехота окопалась и заняла оборону. Нас отвели в тыл. Мы поселились в роскошном имении. В том самом, в котором мы увидели эту картину. Но чёрта с два танкистам дадут усидеть в имении. Нас поперли. Не немцы – свои. Штаб стрелкового корпуса. Обидно, конечно. Но не плакать же из-за этого. Мы и до войны не проживали в имениях.

Построили землянки. Оборудовали их. Прихватили кое-что из имения. Я взял картину. Эту самую. Мадонну Боттичелли. Это батальонный начбой сказал нам, что Мадонну написал Боттичелли.

Капитан ещё до войны был инженером. Очень культурный человек. Страшно не любил матерщинников. В танковой-то бригаде! И вообще он переживал, как бы мы, подрастающее поколение, не вышли из войны огрубевшими, с примитивным интеллектом – это он так говорил. Капитану нравилось, что из всего барахла, – а от него в имении глаза разбегались, – я выбрал именно эту картину.

Разве оно непонятно? Ещё совсем недавно, в восьмом и в девятом классе, я собирал открытки с репродукциями картин. Боттичелли мне не попадался. Всё больше Шишкин и Бродский. В больших городах я не бывал. Читал, что есть на свете картинные галереи. Но какие они? Может быть, это имение и было картинной галереей? Чего только там не было навешано.

Но почему-то из всех картин с охотниками, с роскошными замками среди коричнево-зелёных деревьев, почему-то из всего этого великолепия я выбрал небольшую неяркую картину. Только женщина с младенцем. Но любил я эту картину!

В тот день начбой гостил у нас в землянке. Играл с нами в "балду". Воспитательный маневр. Играющий в "балду" должен хорошо знать грамматику. Обычно выигрывал тот, у кого больше словарный запас.

Мы сидели за большим овальным столом из палисандра, занимавшим всё свободное пространство. Стулья тоже массивные, с резными спинками. На полу толстенный ковер, уже изрядно замызганный глиной. Ещё один ковёр с ярким восточным орнаментом застилал лежанку. Всё это барахло мы перетащили из имения ещё до того, как покрыли землянку крышей. Два крохотных оконца по бокам двери. Тускло. Целую неделю беспрерывно лили холодные прусские дожди. Тоскливо. Выпить бы. И главное – есть кое-что в запасе. Да разве посмеешь в присутствии капитана. Конечно, он нам не начальник. Но очень правильный человек наш начбой.

С утра по бригаде шастает комиссия из политуправления фронта. Больше всех, говорят, песочит какой-то полковник. Зверь, говорят. Но у нас порядочек. Ждём пополнение. Учимся потихонечку. Известное дело – бригада на формировании. Тоска.

Комиссия нагрянула внезапно, хоть мы и ждали её прихода. Спустился в нашу землянку полковник. Дородный такой. Как наша мебель. За ним – дежурный по бригаде и ещё два офицера из политотдела.

Я скомандовал, доложил. Постарался. Показал выправку. Сразу смекнул, кто он есть и что ему придётся по вкусу. Пожалуйста. Нам не жалко.

Начбой объяснил про "балду".

Полковнику это понравилось меньше, чем мой доклад. Сказал, что лучше бы занимались политподготовкой. Но так сказал, не в приказном порядке.

Осмотрел землянку. С одобрением вроде. Собирался уже уходить. И вдруг глаза его аж выкатились наружу. Пальцем только тычет в картину и молчит, задыхаясь от гнева.

А картина под потолком над лежанкой у моего изголовья, в правом углу от входа. Темновато там. К тому же, она в глубине широкой многоступенчатой рамы с потускневшей позолотой.

Стоит полковник немой от злости и пальцем упирается в воздух.

А Мадонна улыбается. Хорошо так улыбается. Держит на руках младенца и улыбается. Добрая.

А мы ещё ничего не понимаем. И офицеры из политотдела, видать, тоже не понимают.

И тут как вывалится из полковника:

– Кто разрешил икону в офицерской землянке?

Спятил он, что ли? Причём тут икона? И вообще, какая может быть икона у еврея? Да ещё такого убежденного атеиста. Но я и рта раскрыть не успел.

Всё это произошло быстрее, чем выстрел. Полковник выхватил финку с наборной рукоятки из-под полы кителя, кинулся на лежанку да по Мадонне ножом – р-раз. Я аж ахнул. Будто в меня финку всадили. Никакого трофея не нужно было мне. Только одну Мадонну принёс я из имения. За что же он её так?

Ну, а дальше что было! Начбой подошёл к полковнику. А тот стоит с финкой в руках и пыхтит. А капитана таким мы ещё никогда не видели. Страшный такой. Бледный. И вдруг как врежет! Полковник так и рухнул. Как стоял, так и рухнул. Даже не согнулся ни в одном суставе. Ну, я вам скажу, удар! Вот тебе и интеллигент!

Лежит полковник, не движется. Не знаем, живой он, или мёртвый. А мы все оцепенели. И дежурный по бригаде. И офицеры из политотдела. Шутка ли! Капитан полковнику прилюдно дал по морде! Да ещё какому полковнику!

Ну, а уж когда полковник вскочил и выхватил пистолет, тут, значит, и я пришёл в себя. А рана, нанесённая Мадонне, так болела, так кровоточила во мне, а яркие кольца наборной рукоятки ножа, валявшегося на замызганном ковре так резали мои глаза, что ни о какой субординации уже не могло быть и речи. В такой ситуации уже не соображают, кто лейтенант, а кто полковник. Забрали мы пистолет. Руки скрутили. Связали его, буйвола, телефонным проводом и привалили к ножке стола. Политотдельцы, слава Богу, сообразили, что, если озверели офицеры из экипажей, то лучше не иметь с ними дела. Я даже не заметил, когда они покинули землянку.

Часа через два явился к нам сам член военного совета, генерал-лейтенант. А с ним – наш комбриг. И ещё куча всякого большого начальства. Только тогда развязали полковника. Хотел он что-то сказать генералу, но тот очень нехорошо посмотрел на него. Если разобраться по существу, какое наказание может быть страшнее, чем всунуть человека в танк и приказать ему идти в атаку? И всё же, я не хотел бы, чтобы на меня так посмотрели.

Начбой всю вину взвалил на себя. А генерал только укоризнено покачал головой и сказал совсем не то и не так, как в таких случаях говорят генералы:

– Как же это вы, интеллигентный человек, могли допустить, чтобы картину Боттичелли гноили в этой сырости?

Всё в этот день было необычным. Даже генерал оказался каким-то не настоящим. Он ушёл, приказав не прикасаться к картине. И все ушли из землянки. Не предполагали мы, выкопав её, что здесь побывает такое количество начальства.

К полудню следующего дня вместе с вчерашними политотдельцами к нам ввалились два весёлых москвича в полувоенной форме. Сказали, что генерал-лейтенант самолётом срочно доставил их на фронт. Художники-реставраторы. Стояли они перед распоротой Мадонной, ахали да охали. Много разных слов непонятных говорили. Поругивали меня слегка. Но выпить с нами не отказались. Неплохие дядьки. Потом с двух сторон залепили картину чем-то пахнущим мёдом, заколотили в небольшой плоский ящик и увезли.

До самого наступления не было для меня места постылее нашей землянки. А как я любил её до этого случая! Как украшала её картина! Иногда по ночам, когда землянка вздрагивала от близких разрывов, я просыпался, включал трёхсветный трофейный фонарик и смотрел на Мадонну. Смотрел на неё, освещённую зелёным светом. Смотрел на освещённую красным. Но больше всего она нравилась мне в обычном - в белом. Ребята поглядывали на меня и молчали. Пойди пойми их. Посмотри я на фотографию какой-нибудь девушки, они бы растрезвонили по всей бригаде, что, мол, Счастливчик наконец-то втюрился в бабу. А тут… Ведь и вправду смех – картина. И ничего – молчали.

А стихи что. Конечно, всё так и было, как в них написано. Но не люблю я эти стихи.

Суровая правда войны Иона Дегена

Владимир БОНДАРЕНКО

Это стихотворение поначалу ошеломляет всех без исключения, возникают самые разные эмоции от гнева за кощунство до чувства трагичного понимания войны. Стихи и писались явно для себя, без всякой надежды на публикацию. Да и автор не считал себя поэтом. К тому же стихи явно написаны не в русской милосердной поэтической традиции. Иное, чисто советское отношение к жизни и смерти, чуждое христианской традиции. Но пробирает до глубины души.

В 1988 году в своей "огоньковской" рубрике "Русская муза XX века", из которой позже и выросла великолепная антология русской поэзии "Строфы века", Евгений Евтушенко впервые не только опубликовал стихотворение совсем неизвестного автора, правда, перепутав его имя и обозвав Иосифом, но и более того – назвал это стихотворение гениальным и лучшим из фронтовой поэзии XX века. Поначалу утвердилась версия, что это стихотворение из планшета убитого русского лейтенанта, найденного под Сталинградом. Лишь позже, после евтушенковской публикации, с Украины пришло письмо, подтвердившее авторство Иона Лазаревича Дегена. Поэт дал зарок себе забыть о литературе после первого скандального чтения своих стихов в Доме литераторов в 1945 году. Позже Иона Деген вспоминал об этом выступлении: "Летом 1945 года я, двадцатилетний лейтенантик на костылях, был в резерве бронетанковых механизированных войск Красной Армии. Как-то раз я отправился в Комитет по защите авторских прав. В ту пору была очень популярна одна песня. Сочинивший её командир танка из моего взвода погиб, и мне хотелось, чтобы безымянная песня, исполняемая джазом Эдди Рознера, приобрела автора. В Комитете ко мне отнеслись снисходительно, но вполне доброжелательно; авторство песни обещали восстановить, а выяснив, что я сам сочиняю стихи, попросили что-нибудь прочесть. Я начал читать – и через несколько минут в комнате уже было не протолкнуться... Вернулся я к себе в полк, на другой день вызывает меня начальник политотдела: "Так что, лейтенант, ты там стишки какие-то пишешь? Вот тебе "виллис" – поезжай в Центральный Дом литераторов. Обратно на метро приедешь: мне известно, что ты даже танцевать на костылях умудряешься". Отправился я в ЦДЛ. Слушать меня собрались человек сорок, узнал я только Константина Симонова, да ещё обратил внимание на долговязого человека, непрерывно что-то помечавшего в блокноте. Это был литературный критик Тарасенков, который, как оказалось, и записал то самое стихотворение; прочёл его Семёну Липкину, а тот, в свою очередь, – Гроссману. Так через много лет я узнал от самого Липкина, каким образом стихи попали в "Жизнь и судьбу". А совсем недавно мне прислали из Лос-Анджелеса русскую газету "Курьер". В ней опубликован материал, автор которого – якобы со слов Михаила Дудина – пересказывает, как я читал военные стихи при поступлении в Литературный институт. По-видимому, речь шла о том моем единственном выступлении в ЦДЛ: во всяком случае, в Литинститут я никогда в жизни не поступал. И еще, вроде бы, Дудин рассказал, что, когда при "поступлении" меня разругали, я ответил: "Вы – тыловые шлюхи!". Конечно, ничего подобного я тогда произнести не мог. А вот клеймили меня на самом деле.

…Мне тогда это казалось странным: я, ярый коммунист, пылкий патриот, был убежден, что мои стихи абсолютно не нарушают канонов, установленных советской властью и родной Коммунистической партией... Однако же меня обвинили в том, что я порочу Красную Армию, приписываю ей мародерство; что проповедую трусость... И, вместо заключительного слова, я там же, в ЦДЛ, сочинил и прочёл стихотворение "Товарищам "фронтовым" поэтам". Там были такие строки:

Мой гонорар – только слава в полку
И благодарность солдата.
Вам же платил за любую строку
Щедрый главбух Литиздата.

Как видите, это мало напоминает выражение "тыловые шлюхи". Но, после того, как меня разругали в ЦДЛ, я дал зарок: с литературным истэблишментом никогда ничего общего иметь не буду…"

Интересно, что симоновский разгром стихов Дегена почти дословно совпал с более поздними разгромами в эмигрантской русскоязычной антисоветской прессе. Одна статья так и называлась "Мародёр в законе". Её автор Ян Торчинский пишет: "Зверь, гад – сидит в каждом из нас. Иной раз и высунется из подсознанья. Главный труд человека как раз и состоит в том, чтобы держать зверя в узде. Повторим эту веселенькую истину: человек умеет радоваться смерти дальнего, а то и ближнего. И не всякий раз вовремя опомнится, а слово – не воробей. Но опомниться и повиниться полезно и с опозданием. Иногда целому народу приходится опоминаться и виниться.

Перечитаем этот знаменитый шедевр:

Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей,
Дай-ка лучше погрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки,
Мне ещё наступать предстоит.

Говорят: вот она, суровая правда! Наконец-то, шестьдесят лет спустя, мы её дождались, а то всё не знали. Оказывается, на фронте убивают, там бывало холодно и валенок не хватало. Не смешно ли?.. Умиляются: написал семнадцатилетний мальчик, не успевший школу окончить, а сколько в нём мужества! Не сентиментальничает над умирающим, хоть и знает: сегодня – его, а завтра – меня. Смотрит в глаза страшной действительности.

Ещё говорят: великолепные стихи. Это, с позволения сказать, вздор. По исполнению они не хороши и не плохи: в точности ватерлиния. Говоря о фактуре, можно отметить, что их несколько оживляет дактилическое окончание, нечастое в русском анапесте после Некрасова; оно сообщает этим стихам напевность, подкупает читателя. Народ именно на это и откликнулся инстинктивно – потому что больше (если отстранить содержание) откликнуться тут не на что: стихи как стихи. Народ прав. В этом подсознательном отклике есть ещё и протест, тоже инстинктивный, – приговор не только всякому дыр-бул-щилу, но и Маяковскому с Кирсановым под мышкой. На подстознательном уровне народ знает: стихи должны быть песней: текст, из которого вовсе изгнано песенное начало, – не стихи. Но это к слову.

Зато содержание этого не плохого – не хорошего восьмистишья, его нравственное наполнение, отделяемое от текста, – постыдно. Лирический герой радуется смерти товарища, пляшет над умирающим, собирается – задумайтесь! – греть руки над его кровью, снимать с живого валенки – и всё это говорит умирающему в глаза. Тот, несчастный, переживает самую страшную минуту всякой человеческой жизни. Его одиночество беспредельно. Самые мужественные теряют в эту минуту власть над собою. Самых мужественных – утешают, это в природе человека, не потерявшего человеческого облика. Не сочувствовать смертельной агонии – тут надо зверем быть. И лирический герой этого стихотворения – именно зверь, молодой ликующий зверь, ликующий от мысли, что сегодня не он, а другой достался Молоху, ему же валенки перепадут, он может поживиться на смерти ближнего.

Перед нами чистый, безупречный образчик социалистического реализма: освобождённый от квасного патриотизма и замоскворецкого холуйства. Вот таким человек и должен быть: материальным, без примеси не то что духовного, а хоть душевного начала. Он должен быть устремлён к светлому будущему, к победе, а не к страданиям какого-то одиночки с распоротым животом. Убит – в яму. Что? Ещё дышит? Всё равно туда. Нам наступать нужно. Деген сделал то, что не удавалось Симоновым: создал похожий портрет советского человека. Оттого он и нравится уцелевшим представителям "новой человеческой общности", состраданию чуждой: советскому народу. Пушкин и Толстой с одинаковым отвращением отвернулись бы от такого…".

Автор отделяет того семнадцатилетнего мальчишку, написавшего такое жестокое стихотворение, от самого Иона Дегена. Мол, Ион Деген – отличный воин, неоднократно ранен, горел в танке, после того памятного выступления в ЦДЛ ушедший от литературы в медицину, ставший известнейшим врачом-хирургом, защитивший докторскую диссертацию по медицине. Ему хватило ума не считать себя поэтом. "На танкисте Дегене не лежит ни малейшей ответственности за написанное, не говоря уже о враче Дегене. Его рукой писал Молох. Поэта Дегена – нет и никогда не было… В ослабленной форме тварная жестокость представлена детективным романом с непременным убийством, в кульминационной, непревзойденной форме – 11-м сентября, ибо нашёлся ведь гад, объявивший это убийство величайшим произведением искусства, перформансом. Если так, крупнейший художник современности – Усама бен-Ладен. Вот кто истинный председатель земного шара. Стихотворение Дегена о мародере – где-то посередине, но совершенно в русле этой мировой тенденции. Оно принадлежит искусству ровно в той мере, в какой мы готовы упиваться жестокостью (и низостью) как художественным приемом. Ни на йоту больше".

Тут уже я не соглашусь с эмигрантским критиком, сам Деген и впрямь, написав в своем военном планшете сорок с лишним стихотворений, от поэзии отошёл, но взялся за фронтовую прозу и издал уже в Израиле несколько сборников первоклассных рассказов. С той же самой оголённой правдой. Писал, как было, без лирических эмоций. Но от своих фронтовых стихов не отказался, и даже запрещал их править при публикации.

На фронте не сойдёшь с ума едва ли,
Не научившись сразу забывать.
Мы из подбитых танков выгребали
Всё, что в могилу можно закопать.
Комбриг упёрся подбородком в китель.
Я прятал слёзы. Хватит. Перестань.
А вечером учил меня водитель,
Как правильно танцуют падеспань.
(лето 1944)

Днём убиваешь в упор немцев, потом хоронишь погибших товарищей, а вечером учишься танцевать падеспань. И всё почти одновременно. Выразительно резко, выразительно точно, выразительно скупо – и выразительно страшно. Здесь неуместно выражение "лирический герой", автор отвечает за себя, пишет от своего имени, бойца, офицера, танкиста. И не собирается подавать никаких надежд. В противовес знаменитому симоновскому "Жди меня, и я вернусь", Ион Деген пишет своё:

Ты лучше просто паренька забудь,
Влюблённого в тебя. И в Руставели.

Он и себя не жалел, и других тоже. Был всегда готов к смерти, и сам нёс смерть.

Ион Деген прекрасно знал нашу военную фронтовую поэзию, очень любил стихи Гудзенко, ценил Слуцкого, Панченко. Разумеется, был неравнодушен к поэзии горевшего танкиста Сергея Орлова. И на самом деле, одно стихотворение восемнадцатилетнего лейтенанта может быть абсолютно случайным, он даже и не задумался о том, что написал. Может, товарищ уже и умер к этому моменту раздевания? Я внимательно прочитал весь стихотворный планшет Иона Дегена, более сорока стихотворений, конечно – талантливый поэт, прямолинейный и крайне жёсткий во всех проявлениях своей жизни. Прочитал и его мемуары. Героический одиночка, танкист, не жалеющий ни своих, ни чужих. Нет, никаким мародёрством и не пахнет. Он и пленных немецких офицеров расстреливал сам лично в упор без жалости, и со своим начальством не церемонился, много раз мог попасть под трибунал. И картину Боттичелли из старинного замка в свою танковую землянку притащил. Бывало и такое… Но, думаю, командование ценило бесстрашного и умелого танкиста, к тому же и счастливчика. Его гусарство не раз выручало в самых безнадежных ситуациях. Он был нужен на войне, но он – таков какой есть – не нужен был советской поэзии.

Есть у моих товарищей танкистов,
Не верящих в святую мощь брони,
Беззвучная молитва атеистов:
– Помилуй, пронеси и сохрани.
Стыдясь друг друга и себя немного,
Пред боем, как и прежде на Руси,
Безбожники покорно просят Бога:
– Помилуй, сохрани и пронеси.
(сентябрь 1944)

Читая его танковые похождения, я вспоминал прекрасный роман питерского писателя Ильи Бояшова "Белый тигр", вот этим "Белым тигром" и был наяву Ион Деген. Смерть его не брала, семь тяжёлый ранений и после каждого снова в бой. Масса орденов и медалей, но звания Героя никак не дают. Не думаю, что это связано с его еврейством, мало что ли у нас среди Героев Советского Союза было евреев? Его бесстрашия и жестокости боялись даже его командиры, в экипаж его танка боялись идти, это же прямо на смерть! Такие нужны на фронте, но не на параде. Такому же русскому герою-одиночке тоже начальство не благоволило бы. И в штрафбат не посылали, и Героя не давали. Вот он и воюет:

Когда мой танк, зверея, проутюжил
Колонну беженцев – костей и мяса вал,
И таял снег в крови дымящей лужах…

Заметьте, не технику немецкую утюжит, и не вооруженных эсэсовцев, а колонну немецких беженцев. Так и воевал, так и стихи писал, прямо в лоб, без шлифовки и цензуры. Во время войны таким отчаянным и безжалостным, как Ион Деген, прощали многое.

Приведу слова самого Иосифа Сталина, сказанные в разговоре с правоверным югославским коммунистом Милованом Джиласом: "Представьте себе человека, который проходит с боями от Сталинграда до Белграда – тысячи километров по своей опустошенной земле, видя гибель товарищей и самых близких людей! Разве такой человек может реагировать нормально? И что страшного в том, если он пошалит с женщиной после таких ужасов? Вы Красную армию представляли себе идеальной. А она не идеальная… Тут был интересный случай. Майор-летчик пошалил с женщиной, а нашёлся рыцарь-инженер, который начал её защищать. Майор за пистолет: "Эх ты, тыловая крыса!" – и убил рыцаря-инженера. Осудили майора на смерть. Но дело дошло до меня, я заинтересовался и – у меня на это есть право как у Верховного главнокомандующего во время войны – освободил майора, отправил его на фронт. Сейчас он один из героев. Воина надо понимать. И Красная армия не идеальна. Важно, чтобы она била немцев – а она их бьёт хорошо, – все остальное второстепенно…".

Вот с этих позиций и надо оценивать поведение на войне танкиста Иона Дегена. Тем более, далее Милован Джилас в своей книге "Беседы со Сталиным" пишет прямо чуть ли не о самом Дегене: "Я с ужасом узнал и о гораздо большей степени "понимания" им (Сталиным) грехов красноармейцев. Наступая по Восточной Пруссии… танкисты давили и без разбора убивали немецких беженцев – женщин и детей. Об этом сообщили Сталину, спрашивая его, что следует делать в подобных случаях… Он ответил: "пусть и они проявляют инициативу!". Увы, но не бывает войны без ненависти, тем более справедливой. Что танкисты, что летчики, прошедшие реальные бои, поневоле становились убийцами, и на своём пути никого не жалели.

В советское время ясно, что такие стихи никто бы в печать не пропустил, даже сам Евгений Евтушенко в своей публикации их слегка облагородил, за что и получил позже нагоняй от Дегена. О публикации Евгения Евтушенко в "Огоньке" Ион Деген писал своему другу: "Прочитал и распалился до белого каления. Евтушенко в своём репертуаре. Во-первых, никогда я не был Иосифом. Во-вторых, он безобразно испоганил мой текст. В-третьих, никогда я не давал, не даю и не дам ему разрешение испоганить то, что родилось у меня на фронте. Я не считаю справедливым редактировать себя – фронтовика... Жаль, не знаю адреса Евтушенко. А впрочем, хорошо. Потому что ответил бы ему...". Позже Евгений Евтушенко оправдывался перед поэтом. Ион Деген его простил, но изменять что-либо в своем стихе не пожелал.

Таким он и был до конца жизни, и в поэзии своей, и в прозе, и в поведении.

Я бы сравнил его с Павкой Корчагиным – такой же неуправляемый, такой же смелый, такой же целеустремленный. Его стихи поясняют его самого, и в плохом, и в хорошем:

Воды последний глоток
Я отдал сегодня другу.
А друг всё равно… погиб.
Меня сожаленье мучит:
Глотком тем его не спас.
Себе бы оставить лучше.

Явно вызывающий, неполиткорректный стих, но чего ждать ещё от командира танка-смертника, на броне которого постоянно висят куски человечины? Его стихи – это самая оголённая правда войны, правда за чертой милосердия.

За годы войны Ион получил двадцать два ранения, пули и осколки до самой его смерти оставались в теле. Но сломить его дух было невозможно. За время пребывания в госпиталях, когда его можно сказать сшивали заново, у него и окрепло желание стать врачом-хирургом. Он с отличием окончил Черновицкий медицинский институт, защитил в Москве кандидатскую диссертацию, а затем и докторскую.

Постепенно из него улетучивался дух большевизма, на смену приходила национальная идея. Вот так убеждённый комсомолец, коммунист становился приверженцем еврейского хасидизма, и в 1977 году уехал в Израиль, впрочем, не отказываясь ни от своих советских стихов, ни от всех своих советских достижений. Будучи активистом "Союза воинов и партизан инвалидов войны с нацистами", он организовал в Израиле лечение группы из восемнадцати инвалидов, вернувшихся в Россию из Афганистана.

Если читать его стихи отстраненно от его судьбы, то со многим захочется поспорить, но он же каждую строфу свою подтверждал по жизни, может, и сапоги приходилось снимать с кого-то, чтобы дальше идти снова в бой, может, и кровью чужой умываться? Его фронтовая проза горше прозы Юрия Бондарева или Василя Быкова, его поэзия горше стихов Константина Симонова или Михаила Дудина. Не потому, что Бондарев или Быков, или тот же Симонов что-то приглаживали. Видно различие литературы летчиков, артиллеристов или тем более штабных фронтовых корреспондентов от самой низовой окопной прозы пехотинца ли Виктора Астафьева или танкиста-смертника Иона Дегена. Восемь месяцев в непрерывных танковых атаках стали отличным литературным институтом для писателя.

Случайный рейд по вражеским тылам.
Всего лишь танк решил судьбу сраженья.
Но ордена достанутся не нам.
Спасибо, хоть не меньше, чем забвенье.
За наш случайный сумасшедший бой
Признают гениальным полководца.
Но главное, мы выжили с тобой.
А правда что? Ведь так оно ведётся.

А мы вернемся к самому Иону Дегену. К голой правде его стихов. Я бы вполне мог присоединиться к симоновскому осуждению его мародёрства, если бы не знал подробной биографии поэта. Все его фронтовые стихи так и остались именно фронтовыми, написанными мальчишкой, не выходящим месяцами из боев, и живущим совсем по другим законам жизни и смерти. Они остались нам как живая память о страшной войне. Это – не писательские, не поэтические стихи.

Ни плача я не слышал и ни стона.
Над башнями нагробия огня.
За полчаса не стало батальона.
А я всё тот же, кем-то сохранённый.
Быть может, лишь до завтрашнего дня.

Деген так и остался до конца жизни Дегеном:

…Не забавляемся плененьем:
Убитый враг – оно верней.
Всё у меня не по уставу.
За пазухой гармошка карты,
Хоть место для неё в планшете.
Но занят мой планшет стихами,
Увы, ненужными в бою.
Пусть это всё не по уставу.
Но я слыву специалистом
В своем цеху уничтоженья.
А именно для этой цели
В тылу уставы создают.

Вот за это и прощали командиры Иону Дегену все его бесконечные драки, вольности и самоуправства. Войне нужны были прежде всего специалисты по уничтожению, такие героические одиночки…